

У нас завязался серьёзный спор, проистекший, по-видимому, от нескольких причин сразу, и, перво-наперво, от усталости друг от друга. Были и ещё причины, уже второстепенные, но не менее важные. Надвигалась зима, — время в последние годы нестойкое, гнетущее, паршивое для здоровья из-за постоянных перемен дождя и снега, холода и тепла, — и это была серьёзная причина быть постоянно на взводе. Кроме того, взрослые дети нам докучали, живя рядом, но — своей жизнью, а проблемы, связанные с этой жизнью, непрестанно и целеустремлённо перекладывая на нас. И, наконец, донимало непреходящее осознание того, что впереди у нас всё меньше оставалось света, тогда как за спиной ширилась и настигала нас мгла...

Она сказала, что мы не исполняем Божьих заповедей, замыкая в себе мир, тогда как мы должны раскрываться и жить в мире; что главное теперь, когда большая часть жизни уже прожита, — идти миру навстречу, любить и познавать его, сколько ещё осталось сил.

Я возразил, испытывая всегдашнее, едва ввязывался в спор с нею, раздражение, — так раздражается агрессивный пессимист, втайне причисляющий себя к оптимистам, когда вынужден отрицать очевидное в дискуссии с оптимистом открытым. Я сказал, что мир земной есть, возможно, тот самый ад, куда Господь вытряхнул нас из рая вместе с пылью за грех, совершённый Адамом и Евой. В подтверждение своих слов я назвал мир несовершенным, равнодушным к нам, а то и агрессивным по отношению к живущим, — со смертоносными землетрясениями, цунами, селями и лавинами. Я кричал, что в этом мире правит один закон — закон сильного, а потому каждый здесь пожирает другого и существует за счёт другого, что болезни и голод, точно язва, разъедают человечество, что так называемый «золотой миллиард» — самая большая несправедливость, конечно,

после смерти, какая существует на свете. И твой Бог с этим мирится! — кричал я.

Тогда она заплакала и сказала, что я уподобился старому иссохшему дереву, которому только и осталось на веку, что скрипеть и выть дуплами на ветру. И ещё она сказала, что знает: втайне я думаю иначе, только не могу уже не скрипеть, — таковы одёжки, в которые в последние годы я рядился.

Я обозвал её дурой.

В ответ она коснулась моего лица губами, прижалась мокрой, облитой слезами щекой и прошептала, заглядывая в глаза: Бог даровал Адаму и Еве рай, но, когда им захотелось познания, отпустил на землю по их желанию. Бог сказал: мир вам! — и в мире этом — любовь!

Кстати, сказал я, пора бы уже подумать о том, как будем отмечать нашу серебряную свадьбу. Я предлагаю ресторан, тем более что в доме после нескольких месяцев совместного проживания двух семей назревает очередной ремонт.

Она внезапно помрачнела и замолчала, и тут я понял, что в ней уже засела какая-то мысль, связанная с торжеством, и до тех пор, пока мысль не будет выношена, она упорно станет молчать и уходить от разговора. Но уж когда что-то решит, её и на коне не объедешь: хитростью, упорством, каплей, что камень точит, она станет добиваться своего, пока не добьётся, а потом скажет: видишь, как славно всё получилось! Точно так, как ты и хотел.

— Да, конечно, хотел, но после тебя, дорогая.

Видя, что дело принимает такой оборот, я пустил дело на самотёк, но, когда дети застали меня врасплох, спросив, какой подарок с их стороны не расстроит маму, спохватился: до юбилейного дня оставалось всего ничего.

— О ресторане, как я понимаю, говорить бесполезно? — осторожно спросил я.

— Разве ты забыл? Мы уезжаем, — не моргнув глазом, ответила она.

— Как уезжаем? Куда?

— Ты ведь давно собирался поехать в места, откуда родом твой дед. Лучшего и придумать нельзя: поедем теперь.

Всё внутри у меня похолодело: дальняя поездка зимой, по нашим замечательным дорогам, никаким образом не входила в мои планы. Кроме того, я тяжёл был на подъём, неповоротлив, ленив и вообще... Какого, спрашивается, дьявола все за меня решили?! Если уж по мне, то лучше бы выпить у камина сухого вина и лежать весь день с книгой на диване.

Однако спорить с ней было бесполезно, к тому же можно напроситься на ссору и слёзы, что ещё страшнее дороги. И я решил потянуть время, надеясь на какой-нибудь случай, который отвлек бы её, а меня обезопасил.

Но и здесь не вышло, как я задумал...

И вот рано поутру, накануне заветного дня, мы выехали из дома и взяли путь на запад, туда, куда, вслед за нами должно было закатиться солнце.

Надо сказать по секрету, что я не люблю приготовления и сборы, прощание с домом приводит меня в уныние, а вот дорога, точно сильный наркотик, сперва отпугивает, но затем постепенно притягивает, пока, как говорили в дни нашей молодости, не вводит в истинный кайф.

И вот она, дорога, — без единой корочки льда, старая простуженная дорога!

Через какое-то время для меня уже сладостно гудели протекторами шины, весело набегали одно за другим бесснежные, подмёрзшие, серые от мохнатой изморози поля и выбивалось из хмурой пелены туч слепящее солнце, придавая дню ощущение радостного ожидания чего-то хорошего и необычайного, что непременно должно сегодня случиться с нами. Порой даже казалось, что мы незаметно возвратились в осень — с последними листьями в кронах у обочин, ржавой, проволоочной травой, дальними сёлами, слегка подтаявшими в прозрачном воздухе, как если бы на стёкла автомобиля надышали теплом, плавным гусиным ходом по незамерзающему пруду.

— И что же? Может быть, вернёмся? — спросила она, безошибочно угадывая моё состояние и напрашиваясь на комплимент.

— Когда-нибудь все возвращаются на круги своя, — отозвался я важно, изображая философа. — И мы вернёмся, и те, кто пойдёт после нас.

Она прижалась ко мне, и впервые за последние дни мы улыбнулись друг другу, точно освободились внезапно от обыденных, серых пут под названием «наша жизнь».

— Как ты думаешь, — спросила она немного погодя, — мы хорошо прожили нашу жизнь? Помнишь, у Трифонова в «Другой жизни»? Такая себе Ольга Васильевна искренне верила, что у них с Сергеем была хорошая жизнь, тогда как все вокруг считали наоборот.

— Смотря от чего отталкиваться, каким будет критерий. Можно взглянуть с той стороны, что дом мы построили, сад посадили, у нас выросли дети, есть внуки. Что мы ещё живы и относительно здоровы при нашей гипертонии, человеконенавистнической системе наших учреждений, хамах-руководителей, систематических стрессах и напряжениях по пустякам. Что мы ездим на хорошей машине, раз в месяц можем позволить себе пообедать в недорогом ресторане, поехать куда-нибудь просто так, для души, потакая желанию развеяться и узнать что-либо ещё, кроме собственного дома. Но вот у дороги старуха гонит гусей, мужик чинит гнилую изгородь, и, положим, дочь у них молода и красива, но кое-как одета и оттого ущербна; и дочь эта не может себе позволить учиться в городе, ездить на машине, бывать где-то ещё, хотя бы у моря, — они-то уж точно никогда не вырвутся из своего круга. Но вполне вероятно, что этот круг устраивает их или они не знают другого. А то, с каким пренебрежением к прочим, разным и всяким, показывают теперь по телевизору, как новые господа жрут, размножаются, стреляют в Африке носорогов, катаются с гор на лыжах, кажется им в своём убогом прибежище такой же сказкой, как вечная история про Золушку. И при всём при этом неизвестно ещё, кто прожил жизнь лучше, кто из нас счастливее: те, эти или мы с тобой. Здесь, очевидно, главное — собственное мировосприятие, и ещё, наверное, — осознание того, что рядом с тобой хорошо кому-то ещё. Тебе со мной как?

Она задумалась, отворотившись к стеклу и, глядя на убегающую деревеньку,

потом подышала мне в щеку, пощекотала губами, говоря:

— Я просто люблю тебя. Мы вместе. И наши дети здоровы, мужают и встают понемногу на ноги. Ничего другого, наверное, и не нужно.

И я вздохнул, как вздыхал когда-то в далёком детстве, когда меня укладывали спать, поправляли на мне одеяло, целовали, шептали на ухо всякие волшебные небылицы, которые потом снились мне в позабытых, потерявшихся в зрелости цветных снах.

Через какое-то время указатели у обочины участились, развилки разбежались по сторонам, дорога разделилась на четыре полосы, и тут же вынырнули, как из-под земли, околицы областного центра, а вскоре и сам город показался из-за холма — в сизых дымах заводских труб и молочной дымке городского смога.

Она призналась, что голодна, и, завернув на кольцевую дорогу, я припарковал машину у симпатичного мотеля со стенами из морковно-красного кирпича и большими окнами, на чистых, вымытых стеклах которых играло яркими бликами солнце.

Нам накрыли в деревянном домике во дворе мотеля, обитом изнутри лакированной «вагонкой», украшенном подозрительно глядящими со стен чучелами двух диковинных птиц, тёплом симпатичном домике, уютном уже оттого, что мы оказались здесь одни. Вскоре на столе у нас оказались украинский борщ с пампушками, отбивные на кости, помидоры и огурцы, закусанные в дубовых бочках, деруны со сметаной и бутылка водки, немедля запотевшая в нежданном тепле.

— Просто не верится! — воскликнула она, вся сияя. — Неужели мы наконец вдвоём? Неужели никто сию минуту не откроет двери: «Мама, подай», «Мама, убери»?

Мы выпили и поцеловались, словно в дни первых свиданий, — и я вдруг подумал, что уже отвык целоваться, что мои губы жестки и неумелы, а сами поцелуи отнюдь не означают одну только страсть к обладанию, в них заложено и нечто иное, чему нет слов ни в справочниках, ни в толковых словарях.

Кто-то гортанно и резко вскрикнул рядом, за стеной, и ещё раз вскрикнул. Мы

рассмеялись и вышли во двор: за домиком, в отгороженных сеткой вольерах, важно ходили два павлина, и один из них, чем-то своим, павлиньим, возмущённый, гортанно выкрикивал на птичьем наречии нечто нам не понятное, косился на нас негодующим глазом и показывал нам презрительно хвост и спину.

— Ещё одна сладкая парочка! — прыснула она и, блестя глазами, потянулась ко мне за поцелуем. — Они здесь жили и ждали нас. И вот мы приехали, и они позвали: мы здесь, идите к нам любоваться!

Павлин картинно дрогнул хвостом и боком, боком пошёл вокруг самки, вместе с тем не выпуская нас из вида, как будто показывался нам со всех сторон — какой он красавец и молодец.

Глядя на хвостуна, мы смеялись как дети, самка же сохраняла вид невозмутимый и равнодушный, вынуждая павлина то охладевать, то снова возгораться и наседать на неё со всей птичьей страстью.

— Вот уж — сколько живут, столько любят, — сказала она, когда мы возвратились в домик. — Не то что у людей: старость, дряхлость, ненужность.

— Уж не скажи: зато у нас есть память. Кроме того, есть ещё, например, Тютчев.

*О, как на склоне наших лет  
Нежней мы любим и суеверней...  
Сияй, сияй, прощальный свет  
Любви последней, зари вечерней!*

— Вот ещё: любовь старика к молоденькой! Совсем ты, отец, сбрендил! — внезапно осердилась она неудачному моему примеру. — Я давно замечаю, как тебе секретарша кофе в кабинет носит. Такая наглая, всё у неё на виду, всё выставлено, на всё она готова.

Увы, она всегда была страшно ревнива. Но уж лучше ревность, — всякий раз думал я, — чем напускное спокойствие. Кто ровен и спокоен внешне, как правило, неискренен в душе, — темно там, как в погребу, и таится невесть что.

Вечер наступил незаметно, и, когда мы вышли из домика, мотель был уже ярко освещён, вдоль выстеленных плиткой дорожек желтели фонари, а между тёмных сосен в конце аллеи светила изо всех сил серебристо-перламутровая полярная звезда.

— Ты меня напоил! — сказала она, распахивая дублёнку и не отрывая глаз от звезды. — Просто дышать нечем! Смотри, она пульсирует, точно живая. Может быть, и там существует жизнь?

— Может быть. Всё в мире относительно. Видишь, по шоссе пошла к городу машина, за ней — ещё одна? Там, куда они едут, тоже существует жизнь, но мы ничего о ней не знаем и никогда не узнаем: кто живёт в этом городе, кто в эти мгновения умирает, кому сейчас одиноко, кто впервые целует и обнимает женщину... Мир многолик, но и на удивление однообразен: нам ничего не известно, но в то же время мы знаем и догадываемся обо всём.

— Гляди-ка, да ты на свободе ударился в философию! И глаза-то, глаза — заблестели, и красноречие накатило! Представляю, кому ты всё это втирал бы сейчас, не будь с тобою меня! Пошёл бы по бабам?

— Ровным счётом никому. Думал бы о тебе.

— Вот и думай — всегда и везде. А то — «прощальный свет любви последней...»

В номере было горячо, и она сразу же потянула через голову свитерок, сбросила сапоги и пошла по ковровину без обуви, заглядывая в каждый уголок и радуясь, что номер ухожен и чист, а постель пахнет свежестью, будто её сейчас только принесли с мороза.

— Как хорошо, как покойно, как радостно! Неужели и мы проживём немного такой жизнью, попутешествуем, увидим мир и в этом мире — друг друга? Неужели?

Всё, что она думала и говорила, было теперь написано у неё на лице, и мне трогательно было наблюдать за переменами этого оживленного лица, за её прояснёнными, печальными, восхищающимися глазами. Так живёт и дышит ребёнок, душа у которого ещё чиста, словно тетрадный лист, — и мне хотелось написать в этой душе нечто необыкновенное и значительное, чему не будет ни конца, ни начала.

— Что нужно человеку для счастья? Совсем немного, самую малость: то, что мы можем друг другу дать. Почему же не даём? Что мешает? Сами же и мешаем, будто ещё собираемся жить и жить, откладываем на потом, а сейчас недосуг. Горько и печально: мы же во всём и виноваты!..

Гором мы поехали дальше.

Городок, который был нужен нам, оказался мне настолько чужим и отдаленным от прожитой мною жизни, что сердце даже не отозвалось, не откликнулось блаженной мысли о близости земных истоков: серые домики между холмами, асфальтовые улочки, чужие и безразличные мне люди... В районном архиве казённым голосом нам поведали, что документы столетней давности увезены в областной архив, где, возможно, сгорели в недавнем пожаре. Паспортный стол располагал данными о двух десятках людей с фамилией, какую носил и я, но все эти люди были настолько молоды, что вряд ли могли поведать что-нибудь вразумительное о случившемся сто лет назад исходе. На старом кладбище и того более: всё поросло, затянулось, поглотилось разнотравьем, всё сущее когда-то стало теперь небылью, тёмной и дикой зеленью, лезущей на могильные камни отовсюду.

Я затосковал, занервничал, стал злиться по любому пустяку, и мы решили как можно скорее покинуть этот город.

— Надо было помнить о живых — не искали бы мёртвых, — сказал я в сердцах, упрекая себя в душевной лени, нелюбопытстве и равнодушии ко всему, что жило какое-то время рядом со мной и постепенно ушло, затянулось небылью, как старое кладбище городка. — Вот во Франции помнят о предках едва не до десятого колена. Потому там — Франция, а здесь...

— Куда мы едем? — вдруг спросила она, всматриваясь в дорожные указатели.

Оказывается, сгоряча я понёсся в противоположном направлении, отдаляясь от дома на северо-запад. Не хотелось оправдываться и виниться, и я ответил вроде того, что поедем по кругу, как в России — по Золотому Кольцу. Всё равно ведь, говорил я, мы путешествуем, и это путешествие ещё нас не утомило.

Без сомнения, я был раскрыт, но ей следовало промолчать, и она так и поступила: пока всё, кроме посещения городка, ложилось у нас в масть, и она, по-видимому, опасалась вспугнуть несвоевременными разборками переменчивую и капризную птицу-счастье.

Мы сверились по карте, выбирая маршрут, и тут она, приглядевшись и нечто знакомое для себя узнавая, сказала: поедем

в Почаевскую Лавру! — точно давно для себя это решила, но только сейчас, когда до цели было всего несколько часов езды, призналась в истинной причине нашего путешествия.

Наверное, я плохой христианин, мало думаю о духовном и вечном, а всё больше — о суетном. Но сейчас, в эти минуты, когда она сказала: поедem в Лавру! — я вдруг вздохнул с облегчением, как если бы издавна, втайне от самого себя, хотел поехать на святые места и побыть там с нею, и покаяться, и ощутить благодать Божью.

— Мы ведь с тобой не венчаны, — сказала она раздумчиво, изредка заглядывая мне в глаза, но больше пряча от меня взгляд. — Если не повенчаемся, то после смерти наши души никогда уже не будут вместе. Тебе не будет тоскливо без меня там?

И от её слов, и от её взгляда мне и в самом деле стало жутко и одиноко, точно я уже умер, и душа моя не может отыскать её среди других душ.

Мы молча поехали дальше, иногда только переговариваясь о чём-то незначательном, втайне же собираясь с духом, как если бы в глубине души приготавливались к единственно необходимой теперь нам обоим встрече.

Поля вокруг нас были уже в снегу, в снегу был и тёмный лес, взбирающийся там и здесь по покатым холмам. Дорога становилась всё извилистее, стала чередоваться подъёмами и спусками, и неизвестно что могло появиться за очередным поворотом: селение, храм или снова — лес и стылое поле.

И вдруг, после долгого затяжного подъёма и поворота, вдаль, сколько хватило глаз, открылась равнина, и посреди неё, на крутой высоте, точно в сказке на острове Буяне, — город-храм, сияющий золотом куполов.

— Лавра! — выдохнула она и заворожённо взяла меня за руку, понуждая остановить машину. — В самом деле, чудо! В самом деле!

Какое-то время мы молча смотрели и думали каждый о своём.

Я думал, что давно уже не испытывал такого тепла, такой нежности к ней, как теперь, по той простой причине, что доставил ей истинную радость, — отчасти потому, что так мало доставлял ей радости в

жизни. Меня мучило раскаяние из-за этого, мне очень хотелось с этой минуты всегда радовать её, даровать счастье во всём. При этом я отлично осознавал, что счастья как такового на свете нет, что его никогда не будет, — есть всего лишь ощущение неповторимости мгновения, и это ощущение ошибочно принимается за так называемое счастье. Чем больше таких мгновений случается с нами, тем светлее и радостнее осознаётся сама жизнь. А сотворить мгновение так несложно, это каждому по плечу, это много легче, чем построить дом, посадить сад и вырастить сына. Отчего же тогда мы так скупы и беспечны, отчего каждую минуту не пытаемся сделать что-то хорошее для любимого человека — точно надеемся, что минута эта не канет навсегда, а ещё и ещё повторится в нас с тем, чтобы мы смогли исправить утраченное и прожить её по-иному?!

А что думала она? Не знаю, но мысли её были очень далеко, я видел это по взгляду, как бы повёрнутому в себя, по закушенной губе, по ладоням, которые легли на колени и лежали так смиренно и неподвижно, точно хозяйке не было до них никакого дела.

Ну, а потом в нашей жизни случилась Лавра — нечто, о чём нельзя поминать всуе. Наверное, можно было сказать о головокружительной высоте стен, воздвигнутых на скале, о необозримых просторах, открывающихся отовсюду, о солнечных лучах, так чудесно и ясно пробивающихся сквозь облака, как если бы благодать Божья нисходила на эту намоленную за века землю. Можно было признаться и в том, что более всего прочего осталась у нас в памяти пещера преподобного Иова с гладкими тёплыми стенами, с одинокой свечой у образа, недолгое пребывание в которой и по истечении времени ощущается и телом, и душой так, точно и тело, и душа всё ещё пребывают там.

Можно — многое, но что бы я ни говорил, как бы ни живописал, главным даже в Лавре для меня оставалось одно или, вернее, одна — она, вот уже тридцать лет бывшая со мной рядом. И потому всё происходящее с нами было в подсознании определено для меня твёрдо и однозначно: это происходит исключительно для неё. Это обстоятельство осознавалось как нечто

никогда ранее со мной не случавшееся, точно я был всю прошлую жизнь глух и слеп, но вдруг прозрел в нежности и любви. Исподтишка, с бьющимся сердцем, я ловил каждое движение, каждый взгляд восхищения, печали или покаяния, каждую слезинку подле её глаз. Неужели это — та женщина, с которой мы столько лет прожили как одно целое, неужели это она? Вот она берёт меня за руку, вот мимолётно смотрит, и я почти всё угадываю и узнаю в ней, но и открываю для себя сизнова. И всегда буду, по всей видимости, открывать. Она — это я, а с самим собою не наскучишь, себя не разлюбишь, как бы ни стремился разлюбить, себя не потеряешь в сумерках прожитых на земле лет.

Мы возвращались затемно, и редкая череда машин слепила нас встречным светом и уносилась вслед за этим светом куда-то в звёздную темноту, нам за спину. Она молчала, склонив голову к моему плечу. Щека её какое-то ещё время была холодна после купания в озере святой Анны, куда мы

напоследок заехали, следуя из Почаевской Лавры. Нам было покойно и хорошо вдвоём, мы так естественны были в эти мгновения жизни в окружающем нас мире, точно знали наперёд, что никогда и ничего дурного с нами не может уже случиться.

— Будто в серебро окунулась! — вдруг прошептала она и улыбнулась, как улыбаются впервые в жизни неискушённые дети: светло, застенчиво и с нежностью ко всему, что их окружает. — Он сказал: мир вам! Какой благодатный мир!

Я же, соглашаясь с нею, долго ещё думал и вспоминал иное: как в купальне она спускалась по дощатым ступеням к воде, как окуналась в святую воду — в разгар зимы, в декабре! — и была потом так счастлива, что даже не ощутила озноба. И ещё вспоминал, как выходила она из воды — и в самом деле точно облитая серебром, — и как я, словно впервые осознавая дарованную мне свыше ослепительную наготу, сказал себе — её же словами:

— Мир вам, и этот мир — ты!